

Владимир БАБАШКИН

Крестьянский менталитет: наследие России царской в России коммунистической

По мере того как советский или коммунистический период нашей истории отодвигался в прошлое, меняется, делается более сложным его восприятие. На рубеже 80—90-х годов в российской историографии и особенно в исторической публицистике имела место попытка сохранить прежнюю оценочную четкость, сменив только плюсы на минусы, позитив на негатив. По сути это было такое же отрицание специфики предшествующей истории, какое характерно для коммунистической идеологии. К счастью, на этот раз жизнь быстро показала, что одной сменой оценок удовлетвориться нельзя и требуется большая работа специалистов для формирования системы адекватных представлений о данном периоде истории XX века. По моему убеждению, существенную роль в этой работе должны сыграть исследование крестьянских сюжетов российской истории и повышение роли крестьяноведения в отечественной исторической науке¹. Это способствовало бы преодолению пресловутого разрыва времен, поскольку крестьянство и *крестьянственность*, на мой взгляд,— то главное, что унаследовала Россия советская от России царской и демократической (послефевральской). Роль крестьянства как связующего звена отечественной истории намного глубже и существенней, чем те отличия указанных периодов, на которых мы привычно акцентируем внимание.

Такой подход дает возможность преодолеть канонизированный в советской историографии взгляд на первые полтора десятилетия советской власти как на прорыв в авангард мирового прогресса и реализацию высшего типа общественного устройства. Но этот подход делает бессмысленной также и альтернативную точку зрения на российскую революцию как некую аномалию, сбой с нормального пути развития и сплошную цепочку фатальных для либерально-демократической модели общественного устройства ошибок и упущенных возможностей.

В этой связи считаю необходимым сказать несколько слов о проблеме *исторических альтернатив*, которой теперь уделяется большое внимание в рабо-

¹ Этой цели призван служить постоянно действующий под эгидой Института российской истории РАН и Междисциплинарного академического центра социальных исследований (Интерцентра) теоретический семинар «Современные концепции аграрного развития». Публикации материалов семинара см. «Отечественная история», 1992, № 5; 1993, № № 2, 6; 1994, № № 2, 4—5, 6 и далее.

Бабашкин В. В. — кандидат исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Всероссийского сельскохозяйственного института заочного образования, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин Международного открытого гуманитарного университета, специалист в области истории советского крестьянства и аграрных отношений.

те семинара «Современные концепции аграрного развития»². В коммунистический период частичка «бы» была под запретом для историков, так как по большому счету она ставила под сомнение те оценки, которые после выхода сталинского «Краткого курса истории ВКП(б)» сомнению не подлежали. В посткоммунистические времена широкое обращение к такому исследовательскому приему объясняется отчасти многолетним табу и косвенным образом работает на стереотип отклонения от нормы. Мне более близок взгляд на историю как на *заведомую* норму, как на резюмирующий вектор, равнодействующую огромного количества тенденций, факторов и событий.

Анализ явлений отечественной истории с этих позиций открывает перспективу того, что в результате длительной совместной работы историков-фактографов, историков-концептуалистов, социологов в конце концов будет нащупана та равнодействующая, которая станет основой общепринятого взгляда на советский период. Идея безальтернативности в официальной советской историографии базировалась на том, что этот общий взгляд уже дан заранее, и историческая фактура, противоречащая этой заданности, либо не рассматривалась, либо, в лучшем случае, подавалась как второстепенная, несущественная. Упражнения же современных «альтернативщиков» могут оказаться бесперспективными для поиска этого общего взгляда, поскольку над ними довлеет невероятной сложности вопрос: мог ли российский вариант модернизации по своим экономическим, социальным, политическим, культурным и т. д. характеристикам быть более похожим на немецкий, французский, английский, итальянский, а то и некий среднеарифметический европейский?

Не случайно, что именно в рамках современных исследований истории крестьянства возникло представление об уникальности вариантов перехода от крестьянских обществ к городским не только в масштабах регионов и культур, но и для каждого отдельно взятого общества³. Так не стоит ли оставить на время интересный, но явно затянувшийся спор о том, кто мы для Европы — просто органическая часть или же учителя жизни,— и сосредоточиться на своей уникальности? Предлагаемый ниже текст имеет целью рассмотреть одно из возможных направлений хода научной мысли.

* * *

В споре между западниками и патриотами-почвенниками (который сейчас возобновился с новой силой) был эпизод, когда одна из спорящих сторон в лице В. Засулич обратилась за разъяснениями к такому авторитету, как К. Маркс. Маркс ответил, что господствующая форма собственности, а следовательно, и весь общественный уклад России настолько далеки от таковых в Западной Европе, а тем более в Англии, что путь дальнейшего развития российского общества имеет под собой другую основу. Исследование русской крестьянской общины, которое он предпринял (в том числе и на оригинальных русских источниках), убедило его в том, «что община — это основа социального возрождения России. Но для того чтобы она смогла выполнить эту свою роль, прежде всего необходимо оградить ее от губительных наскоков со всех сторон, а затем обеспечить нормальные условия для ее естественного развития»⁴. А за три месяца до смерти он писал дочери (Л. Лафарг), что широкое хождение его теорий в России поражает и восхищает его, дает чувство удовлетворения, поскольку наносит ущерб царскому режиму, являющемуся настоящим оплотом старого общества⁵.

² Данная проблема была одной из центральных на 4-м и 6-м заседаниях семинара при обсуждении «истории контрфактов» Г. Хантера и Я. Ширмера (см. Hunter H., Zygmier J. M. Faulty Foundations. Soviet Economic Policies. 1928—1940. Princeton, 1992) и книги Lewin M. Russian Peasants and Soviet Power: A Study of Collectivisation. London, 1968. См. также «Отечественная история», 1994, № № 4—5; «Ежегодник крестьяноведения». М., 1995.

³ См. об этом «Отечественная история», 1993, № 2, с. 27.

⁴ См. Late Marx and the Russian Road. New York, 1983, p. 124.

⁵ Ibid., p. 71.

Казалось бы, налицо парадокс. С одной стороны, автор «Капитала» убежден, что идеи его разработаны не для России и неверно поняты российскими революционерами. С другой стороны, он рад, что эти идеи завоевывают там популярность, полагая, что это может стать одним из факторов преобразования великой аграрной державы, глубинную основу развития которой он, напомним, видел в крестьянской общине.

«Это великий парадокс современной истории,— писал 70 лет спустя один американский политолог,— что марксизм, который был неизменно враждебен к живущим и работающим на земле, во всех случаях пришел к власти на спинах возмущенных крестьян»⁶. В другом американском исследовании данный факт назван «великой иронией современной истории»⁷. Для объяснения этой загадки в западной научной литературе неоднократно подчеркивалось, насколько различно было прочтение теоретического наследия Маркса европейцами (включая российских меньшевиков) и большевиков во главе с В. Лениным. Ленин и сам этого не скрывал — достаточно обратиться к его статье «Марксизм и ревизионизм»⁸.

Перспективу в решении загадки дают исследования того, как реальности *большой крестьянской революции*⁹ изменяли идеологию большевиков, приспособивали ее к России¹⁰. Так, Ленин, увидев, что деревня в событиях 1905—1907 годов выступает единым фронтом, существенно корректирует основную идею своего труда «Развитие капитализма в России» о классовом расколе деревни в будущей пролетарской революции. Он настойчиво убеждает товарищей по партии в необходимости на первых порах ориентироваться на все крестьянство. Вернувшись весной-летом 1918 года к идее классового размежевания деревни¹¹ и на практике убедившись, что деревенская реальность значительно сложнее, Ленин неожиданно для многих обосновывает необходимость нэпа. В начале 20-х годов он мучительно размышляет, как же в теории и на практике возможно соединить марксистскую науку и крестьянскую действительность России.

Но почему марксизм — даже и в такой видоизмененной форме, какой является марксизм-ленинизм — настолько мощно «сработал» как идеологическое обеспечение процесса *модернизации* великой аграрной страны? Отвечая на этот вопрос, необходимо наряду с эволюцией теории большевиков-коммунистов по аграрно-крестьянскому вопросу иметь в виду то обстоятельство, что на ментальном уровне из всех политических партий России большевики были наиболее близки к крестьянам. И когда устремления огромного большинства крестьянства вступали в резонанс с действиями большевиков, жестко ориентированных на власть, в отечественной истории первой трети XX века происходили события, которые довольно точно характеризует еще недавно популярное слово «судьбоносные».

Тезис о ментальной близости большевиков с крестьянами прозвучит для кого-то совершенно невероятно. Поэтому приведем некоторые доводы в его пользу. Американский социолог Г. Динерстайн, изучая роль крестьянства в становлении коммунистического режима в России, рассматривал вопрос о специфике боль-

⁶ M i t r a n y D. Marx against the Peasant. A Study in Social Dogmatism. Durham, 1951, North Carolina, p. 1 (cover).

⁷ L a i r d R., L a i r d B. Soviet Communism and Agrarian Revolution. Harmondsworth, 1970, p. 49.

⁸ См. Л е н и н В. И. Полн. собр. соч., т. 17.

⁹ Эту революцию историк В. Данилов датирует 1902—1922 годами (см. Д а н и л о в В. П. Аграрная реформа и аграрные революции в России. «Великий незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном мире». М., 1992), и все больше специалистов признают справедливость такого утверждения.

¹⁰ Подробно об этом см. S h a n i n T. Orthodox Marxism; L e w i n M. Four-and-a Half Agrarian Programmes: Peasants, Marx's Interpreters, Russian Revolution. «Defining Peasants». New York — London, 1990.

и Кстати сказать, эта идея и практика комитетов бедноты сыграли существенную роль в отечественной истории (см. Б а б а ш к и н В. В. Россия в 1917—1940 годах. «История Отечества». Вып. III. М., 1994).

шевистской партии. Он, в частности, констатировал, что большевики, по свидетельствам современников, думали, чувствовали и поступали иначе, чем представители всех других партий¹². Более того, они были в непримиримой оппозиции по отношению ко всей остальной политической палитре города — от буржуазных либералов и социал-демократов до реакционеров и черносотенцев. Не аналогичное ли отношение к хитросплетениям городской политики и риторики характерно для российского крестьянства¹³?

Возьмем, к примеру, упомянутое выше различное прочтение теоретического наследия Маркса большевиками и меньшевиками. Последние, как и европейские социал-демократы, главным здесь считали идеи цивилизованного рынка, регулируемого либерально-демократическим государством, и возможность классового сотрудничества на этой основе всех слоев общества. Большевики же акцентировали внимание на тех сочинениях Маркса, которые позволяют сделать вывод, что коммунизм — это отсутствие рыночных, товарно-денежных отношений, отсутствие бедности и богатства, воплощение идеала социальной справедливости. Чтобы убедиться, насколько это соответствует воззрениям и моральным установкам крестьянства, достаточно вспомнить лишь, что российские крестьяне говаривали: «Деньги — прах, ну их в тартарарх», «пусти душу в ад — будешь богат», «лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом», и т. п.

В подтверждение обоснованности подобной постановки вопроса обратимся к авторитету такого выдающегося мыслителя, как Н. Бердяев. Он писал: «Большевизм гораздо более традиционен, чем это принято думать, он согласен со своеобразием русского исторического процесса. Произошла русификация и ориентализация марксизма»¹⁴. И далее: «...Либеральные идеи, идеи права, как и идеи социального реформизма, оказались в России утопическими. Большевизм же оказался наименее утопическим и наиболее реалистическим, наиболее соответствующим всей ситуации, как она сложилась в России в 1917 году, и наиболее верным некоторым исконным русским традициям и русским исканиям универсальной социальной правды, понятой максималистически, и русским методам управления и властвования насилием. (В статье, написанной в 1907 году и вошедшей в мою книгу «Духовный кризис интеллигенции», СПб., 1910, я определенно предсказал, что если в России будет настоящая большая революция, то в ней неизбежно победят большевики.) Это было определено всем ходом русской истории, но также и слабостью у нас творческих духовных сил. Коммунизм оказался неотвратимой судьбой России, внутренним моментом в судьбе русского народа»¹⁵.

Очень непривычно (особенно при сравнении с легковесными современными трактовками), глубоко диалектично (в отличие от них же) Бердяев рассматривает личность Ленина и косвенно подтверждает ментальную близость большевизма и российского крестьянства: «В характере Ленина были типически русские черты и не специально интеллигенции, а русского народа: простота, цельность, грубоватость, нелюбовь к прикрасам и к риторике, практичность мысли, склонность к нигилистическому цинизму на моральной основе... В нем черты русского интеллигента-сектанта сочетались с чертами русских людей, собиравших и строивших русское государство. Он соединил в себе черты Чернышевского, Нечаева, Ткачева, Желябова с чертами великих князей московских, Петра Великого и

¹² См. Dinerstine Н. Communism and the Russian Peasant. Glencoe, 1955, p. 6.

¹³ Подозрительность и враждебность крестьян по отношению к городу как общая закономерность аграрных обществ рассматриваются, например, в крестьяноведческих исследованиях Дх. Скотта и Э. Вульфа (см. «Отечественная история», 1992, № 5; 1993, № 6). На российском материале времен крестьянской революции этот вопрос поднимается в работе Sh a n i n Т. The Peasant Dream: Russia 1905—1907. «Defining Peasants». Проблема особого типа мышления крестьян, непонимания и неприятие городской культуры неоднократно поднималась в российской публицистике и беллетристике; особенно пронзительно она, например, звучит в коротком рассказе А. Чехова «Новая дача».

¹⁴ Б е р д я е в Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990, с. 89.

¹⁵ Там же, с. 93.

русских государственных деятелей деспотического типа... Он соединял в себе предельный максимализм революционной идеи, тоталитарного революционного миросозерцания с гибкостью и оппортунизмом в средствах борьбы, в практической политике»¹⁶.

Это очень похоже на хрестоматийную двойственность крестьянской души: трудолюбие и праздность, бунт и смирение, доброта и жестокость, христианство и язычество, преклонение перед образованностью и презрение к ней и т. д., и т. п. Помнится, и сам Ленин был озадачен проблемой, как бы отделить в крестьянине одну часть души от другой: труженика от собственника, эксплуататора от трудящегося¹⁷. А в его учении в конечном итоге соединились, казалось бы, совершенно не соединимые вещи, а именно — западничество (так как в марксистской своей части ленинизм ставил Россию в один ряд с европейскими странами и Америкой) и «почвенническое» представление о том, что «русский образец показывает всем странам кое-что, и весьма существенное, из их неизбежного и недалекого будущего»¹⁸.

Российский рынок в начале нынешнего века оказался слишком слаб, чтобы трансформировать общинную деревню по типу европейских стран. Там на это ушли столетия. Вряд ли и тут хватило бы двадцати спокойных лет, о которых говорил П. Столыпин. Но и их не оказалось в распоряжении. В условиях мировой войны рыночные отношения затрещали по всем швам. Землю, которая могла сделаться предметом купли-продажи, крестьяне требовали отдать бесплатно в распоряжение общин. Это главное требование *своей* революции крестьяне начали активно реализовывать весной-летом 1917 года, не дождавшись согласия ни царского, ни временного правительства. Характерной чертой 11,5 тыс. крестьянских выступлений, произошедших в Европейской России в марте-октябре 1917 года, были организация волостных и сельских крестьянских комитетов и передача этими комитетами местных владельческих земель (как правило, заложенных-перезаложенных в банках) в пользование сельских общин¹⁹. Это окончательно добивало и неокрепший российский рынок, и сильно полегчавший за годы войны рубль. Но у власти в тех условиях могла удержаться лишь та политическая сила, которая готова была смириться с подобной ситуацией. Большевики с их удивительной теорией и не менее удивительной приверженностью теоретическим схемам соглашались с крестьянскими самозахватами земли.

Американский историк Э. Вульф в своей классической работе «Крестьяне» описывает интересную закономерность существования общины в крестьянских обществах. Оказывается, состояние общинных отношений в крестьянском обществе напрямую зависит от того, что собой представляет на данный момент политический режим. Если режим крепок и мощен и тем самым являет способность энергично претендовать на часть крестьянской продукции, то крестьяне всячески укрепляют традиционные общинные связи в ущерб частнособственническим тенденциям. Наоборот, если режим «поплыл», «заигрался» в либерализм, тогда частнособственнические тенденции, как правило, набирают силу²⁰.

Как мне представляется, события социальной и политической истории России 10—20-х годов дают чрезвычайно богатый материал для подтверждения этой закономерности. Здесь находит свое объяснение и неуспех аграрной реформы правительства Столыпина, и то поразительное историческое явление, для которого М. Левин даже вводит специальный термин «архаизация» общества²¹, т. е.

¹⁶ Там же, с. 94.

¹⁷ См. Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 39, с. 277.

¹⁸ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 4.

¹⁹ См. Кострикин В. И. Крестьянское движение накануне Октября. «Октябрь и советское крестьянство. 1917—1927 годы». М., 1977.

²⁰ См. Wolf E. R. Peasants. Englewood Cliffs. New Jersey, 1966, p. 16—17.

²¹ Противоречивость политического курса Столыпина состояла в том, что это был курс на укрепление политической системы и одновременно на разрушение общины. См. также: Lewin M. Russia / USSR in historical Motion. An Essay in interpretation. «The Russian Review», 1991, Vol. 50, № 3, p. 249—266.

ликвидация крестьянами в условиях жесткого военно-коммунистического режима всех последствий капиталистической эволюции деревни и практически полный возврат к общинным отношениям. А самое главное, эта закономерность подсказывает новый ракурс для рассмотрения хитросплетений социально-политических отношений нэповского периода.

То, что крестьяне Тамбовщины, Сибири и Украины, а также одетые в матросские бушлаты крестьяне-кронштадцы заставили большевиков пойти на нэп, стало уже общим местом в историографии как западной, так и советской. А вот социальные последствия поворота советской власти к крестьянству, кажется, изучены недостаточно. «Архаизация» социальной структуры деревни была *обманчивой*²². Подобно известному в физике явлению, когда кусок металла «помнит» свою прежнюю форму и при благоприятных условиях может ее вновь принять, деревня помнила свое недавнее кулацко-батрацкое прошлое, и в условиях нэпа процессы расслоения деревни пошли форсированными темпами. Почему нэповские условия оказались для этого столь благоприятными?

Так сложилось, что нэповский период начался великим голодом 1921 года. Засухой было охвачено 40% посевных площадей. Голодали регионы с населением 90 млн человек, из которых 40 млн оказались на грани выживания. Голод в крестьянских обществах — явление обычное, периодически повторяющееся. Тому есть рациональное объяснение²³. И общей особенностью всех крестьянских обществ является то, что во время голодов крестьяне ожидают от помещиков и властей энергичных и эффективных мер помощи, считая это своим святым правом — ведь в обычные годы крестьяне их кормят. Бурная деятельность большевиков по организации системы Помгола, обращение их за помощью к мировой общественности, изъятие церковных ценностей на цели борьбы с голодом — все это (как ничто другое) служило замирению крестьянства с новой властью. Хорошо известные теперь бесчинства, которые власть творила при этом в отношении церкви, мало волновали крестьян. Специальные исследования показывают, что у российского крестьянства была своя религиозная система, которой они вполне довольствовались в условиях гонений на официальную церковь²⁴. Коммунисты же, стремясь устранить православную церковь, по-видимому, чувствовали, что их собственная коммунистическая вера имеет шансы заменить крестьянам прежнюю официальную догму и занять ее место в системе народной религии.

Налоговая политика в условиях твердого червонца и серебряного гривенника была по отношению к деревне очень специфической²⁵. Основываясь на принципах марксизма-ленинизма, советское руководство стремилось рыночными средствами поддерживать в деревне действие принципа социальной справедливости: кулака прижимали налогами, бедняка освобождали от них. Как и полтора десятилетия назад, во время столыпинской реформы, эффект оказался прямо противоположным искомому. Тогда административное форсирование естественных процессов разложения общины способствовало ее консолидации. Теперь административное стремление затормозить «естественно форсированные» процессы расслоения деревни не давало необходимых власти результатов. Впрочем, у власти были самые смутные представления об искомых результатах.

Хотя прежде немало писалось о «ленинском кооперативном плане», на самом деле Ленин не дал теоретического решения вопроса о дальнейшей эволюции деревни. В связи с его отходом от политики в коммунистической партии, как известно, началась длительная и ожесточенная фракционная борьба за освободившееся место харизматического лидера. Вопрос об отношении к деревне

²² Об этом, полемизируя с М. Левиным, пишет В. Данилов в статье «Аграрная реформа и аграрные революции в России».

²³ См. S e a v o u R. E. Famine in Peasant Societies. New York, 1986.

²⁴ См. L e w i n M. Popular Religion in Twentieth — Century Russia. «The Making of the Soviet System». New York, 1985.

²⁵ См. Данилов В. П. Советская налоговая политика в доколхозной деревне. «Октябрь и советское крестьянство. 1917—1927 годы». М., 1977.

встал при этом предельно остро, но являлся не более чем одной из разыгрываемых карт в политической *игре*. Поэтому решение этого вопроса не имело шансов стать основой твердой и взвешенной политической *линии*¹⁶.

Деревня оказалась предоставленной сама себе. А это и есть условия, благоприятствующие разложению общинных, порядков. Вследствие антикулацкой пропаганды и налоговой политики советской власти большинство крестьян восприняли эту власть как свою. Как свидетельствуют крестьянские письма того времени в «Бедноту» и «Крестьянскую газету», считаться «кулаком» в нэповской деревне было очень хлопотно и небезопасно²⁷. Разложение общинных порядков сопровождалось не столько укреплением индивидуального частного хозяйства, сколько кооперированием бедноты и средних крестьян, а также созданием различного рода колхозов, ТОЗов и т. п., имевших льготы от государства (иногда это были ложные колхозы, созданные в погоне за льготами).

Таким образом, в первом большом столкновении советской власти и крестьян в начале 20-х годов крестьяне, максимально отмобилизовав свое главное оружие — общину, заставили власть проводить нужную им политику, ввергнув партию в «разброд и шатания». Но тем самым они обрекли и общину на процесс быстрого разложения. Эволюция вечных антагонистов в крестьянском обществе — общины и власти — в 20-е годы шла по расходящимся, но диалектически взаимосвязанным линиям. Власть стремилась к *консолидации*, община быстро наверстывала почти пятилетнюю задержку на пути *дезинтеграции*. Конечно, можно назвать много факторов разложения общинного жизненного уклада (демографическая ситуация в деревне, омоложение деревни вследствие войн, распространение агрономических знаний, складывание внутреннего рынка с твердой валютой и т. д.), но все же главными были специфическая *сопряженность* крестьянской коммуны и коммунистической власти, а также временные трудности партии, воплощавшей эту власть, связанные с созданием тоталитарной политической системы.

Появление нового культа личности (без которого такой политической системы не бывает), видимо, было неизбежно, поскольку это было нужно как партийцам на местах, там и самим крестьянам. Первые устали от политической чехарды наверху и очень нуждались в ясных и четких политических установках. Последним образ батюшки-царя — доброго заступника от местных лиходеев и лихоимцев — был привычен и мил («вот придет барин — барин нас рассудит»). Надо отметить, что в лице И. Сталина и те, и другие получили то, что хотели — история с «Головокружением от успехов» лучшее тому подтверждение. Сталин и его приверженцы разгромили последнюю оппозицию в споре о характере хлебозаготовительных трудностей последних нэповских лет. Рискнем сделать одно предположение: в этом споре должен был победить тот, кто обвинял «кулаков» в кризисе хлебозаготовок, поскольку эта версия была ближе и понятней большинству партии. Причем и в деревне такая трактовка событий имела достаточно прочную социальную базу.

Так или иначе, в конце 20-х годов власть сумела консолидироваться, и теперь уже вопрос о политике в деревне из тактической проблемы внутривластной борьбы превращался в вопрос жизни и смерти для этой власти. Мог ли он быть решен иначе, чем это произошло в действительности? Это предмет бесконечного (ввиду сложности) спора, в котором с обеих сторон выдвигается сильная аргументация. Случилось то, что случилось: власть обнаружила решимость окончательно «разобраться» с крестьянством, разрушив общину. И на этот раз ей это удалось, потому что, во-первых, в самой общине сложились более прочные предпосылки к этому (эрозия общинных порядков, социальное и идейное расслоение общинников); во-вторых, делалось это более простым и понятным для крестьян

²⁶ Эта проблема подробно анализируется в кн. L e w i n M. Russian Peasants and Soviet Power, chapters 6—8, 10—13.

²⁷ См. «Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации, 1927—1932 годы». М., 1989, с. 55—57.

способом; в-третьих, на обломках создавалось нечто вполне сравнимое с общинным укладом.

Рассмотрим способ, каким это было сделано. Многие специалисты убеждены, что крестьянское сопротивление коллективизации было сломлено военно-репрессивными методами и в основном в 1930 году²⁸. В следующем году волна открытого крестьянского возмущения была уже менее грозной, и методы военного подавления уже не понадобились в прежнем масштабе — коллективизация стала набирать силу. Однако в крестьяноведческой литературе есть описания других (чисто крестьянских) форм сопротивления, которые позволяли (и позволяют) сводить на нет многие намерения и поползновения властей и делать это неуловимым и непонятым для последних способом²⁹. Советские крестьяне способны были, что называется, «не мытьем, так катаньем», отторгнуть колхозную систему, не дать ей заработать.

Мне представляется, исследователям необходимо сосредоточить самое пристальное внимание на вопрос о страшном голоде 1932—1933 годов, о его роли в коллективизации. Я не хочу отстаивать здесь ту точку зрения, что режим преднамеренно организовал голод³⁰, но власть не могла не понимать, куда способны привести определенные шаги. Тем не менее она решительно и упорно шла в заданном направлении. Очень важно, что у самих крестьян сложилась довольно определенная точка зрения на ситуацию. Динерстайн, опираясь на итоги большого количества бесед с бывшими советскими крестьянами, эмигрировавшими в США, писал: «Многие крестьяне считали, что режим намеренно использовал голод как оружие против них... Советские граждане разного уровня образованности с удивительным единодушием стояли на том, что Сталину нужен был тот страшный голод, и он организовал его». Среди наиболее характерных высказываний крестьян он приводит такое: «Он (Сталин.— В. Б.) сделал это, чтобы власть была устрашающей. Сперва не было дисциплины, но после голода был ужасный страх»³¹.

Не так давно историк В. Кондрашин провел обширное исследование с целью восстановить картину голода 30-х годов по воспоминаниям живых участников событий в селах Поволжья. Его результаты схожи с опросами крестьян-эмигрантов. На вопрос о причинах голода наиболее типичны следующие ответы: «В 1933 году элеваторы были полны хлеба, но хлеб этот не давали. Сталин запретил давать хлеб, и люди умирали от голода. Надо было Сталину проучить мужиков за то, что они не работали. В колхозах порядка не было». Или: «Была молва, что этот искусственный голод сделал Калининым, чтобы люди шли в колхоз. Чтобы колхозник привык к колхозу. Как Дуров животных приучал голодом. Если колхозник перенесет голод, то привыкнет к колхозу и лучше будет ценить колхозное производство»³².

Меня не убеждает ныне популярный у коллег-историков аргумент, согласно которому тот голод не мог иметь решающего значения в коллективизации, поскольку он был далеко не повсеместным, и даже в регионах, им охваченных, голодали не все сто процентов деревень. О голоде знали — и не только в деревнях, но и в городах, где жили и трудились в основном вчерашние крестьяне. Знали, несмотря на строгий запрет любых упоминаний о нем. А что означает голод в наиболее хлеботорговых районах в нормальный год, без засух и других бедствий —

²⁸ В частности, такой авторитетный специалист по данной проблематике, как Н. Ивницкий, говорил об этом на международной конференции «Менталитет и аграрное развитие России в XIX—XX веках» в июне 1994 года в Москве. Материалы готовятся к печати.

²⁹ См. Scott J. C. *Weapon of the Weak*. New Haven, 1985; «Everyday Forms of Peasant Resistance». New York — London, 1989.

³⁰ Эту точку зрения обосновывает, например, Р. Такер в кн. Tucker R. *Stalin in Power. The Revolution from Above. 1928—1941*. New York — London, 1990, p. 189—195.

³¹ Dinerstine H. *Op. cit.*, p. 36.

³² Кондрашин В. В. Голод 1932—1933 годов в деревнях Поволжья (по воспоминаниям очевидцев). «Новые страницы истории Отечества». Пенза, 1992, с. 164, 170.

не могли не понимать. Режим бросил открытый вызов деревне, и деревня в новых условиях уже не готова была принять его. Оставалось трудиться в колхозах.

Громада российской крестьянской общины рухнула в одночасье. Образно говоря, общество оказалось *завалено обломками* в результате этого гигантского разрушения, и для строительства нового общественного здания не было под руками другого материала, кроме этих обломков. Параллельно с коллективизацией шел процесс создания — небывальными темпами и небывальными (административными) средствами — городской индустрии и городской социальной структуры. Первым поколением советских горожан в большинстве были вчерашние крестьяне.

Г. Хантер и Я. Ширмер приводят такие цифры: по сравнению с демографическим прогнозом Госплана, сделанным в 1928 году на основе тогдашних тенденций роста народонаселения, перепись 1939 года дала цифру общей численности населения на 15 млн меньшую; при этом сельских жителей оказалось меньше на 34 млн, а горожан — на 19 млн больше³³. Крестьяне правдами и неправдами шли в города, спасаясь от голода, раскулачивания и обеспечивая стройки пятилеток даровой рабочей силой. Они несли с собой свой менталитет, свой крестьянский взгляд на жизнь, свои ценности. И это не могло не наложить существеннейшего отпечатка на всю систему советской общественно-экономической организации, сложившейся в главных своих чертах в 30-е годы. Левин ставит вопрос даже таким образом, что социальной базой сложившейся системы были *коллективизированные* крестьяне в деревнях и *урбанизированные* крестьяне в городах, так как к 1939 году 67% населения страны по-прежнему крестьянствовало, а из оставшихся 33 % большинство были недавние выходцы из села³⁴.

Ограничусь здесь лишь перечислением наиболее важных черт крестьянственности, которые перешли из деревни в советский город. Это прежде всего отсутствие рынка и соответствующих ему регуляторов социально-экономической жизни. В условиях переизбытка в городах неквалифицированной рабочей силы о рынке труда не было и речи. А когда, начиная с 1933 года, основная продукция сельского хозяйства стала закупаться по ценам в 10—12 раз ниже рыночных, потребительский рынок также надолго ушел в прошлое. Таким образом, деньги — в полном согласии с общинной традицией — в системе общественных отношений начинают носить подчиненный характер по сравнению с личными связями, знакомством, родством, т. е. всем тем, что именовалось неофициальным словом «*блат*» и присутствовало в качестве мощной реальности на всех уровнях общественной жизни. («Не имей сто рублей, а имей сто друзей».) А особое отношение крестьян к продуктам питания, запечатленное в народной поговорке «без денег проживу — лишь бы хлеб был», и перманентные протестовые трудности в советском обществе (связанные с особенностями перестройки аграрного сектора) надолго отодвинули возрастание роли денег и товарно-денежных отношений.

Своеобразием в советском обществе отличался и такой чисто крестьянский ценностный ориентир, как уверенность в завтрашнем дне. Если прежде ее воплощали полный амбар и членство в общине, то теперь на первых порах это была рабочая продуктовая карточка и вера в крепость советской власти. Мы хорошо помним, что до самого недавнего времени «уверенность советских людей в завтрашнем дне» составляла едва ли не самый крупный козырь партийной пропаганды. Он срабатывал безотказно не только потому, что за этим стояли определенные особенности общественной организации советской системы, но и потому, что сам тезис имел устойчивый отзвук в душах советских горожан — даже и во втором поколении выходцев из деревни.

Очень органично для советской идеологической системы звучал тот же тезис, но со знаком минус: а «они» там (по ту сторону «железного занавеса») такой уверенности не имеют и не могут иметь. Почему? Да просто потому, что «они», а

³³ См. Hunter H., Szirmer J. M. Op. cit., p. 42—49.

³⁴ См. Lewin M. Russia/USSR in historical Motion, p. 257—258.

не «мы». Воззрение на мир в соответствии с логикой «мы — они» очень характерно для крестьянской, общинной ментальности. «Они», т. е. *некрестьяне*, живут неразумно, они непонятны и враждебны, от них исходит угроза. Такая особенность менталитета огромного большинства населения страны сыграла важную роль в идейно-политической самоизоляции Советского Союза, что было одним из непрременных условий становления тоталитарного режима (тоже, кстати, весьма согласного с соборным, общинным мироощущением). С этой же особенностью связано, видимо, и то обстоятельство, что людям совсем не казался странным основной тезис сталинской идеологии, утверждающий, что с завершением коллективизации Советскому Союзу удалось осуществить прорыв в наиболее передовое общественное устройство, и теперь «мы» живем лучше и разумнее, чем «они» там, в мире чистогана и наживы. Напротив, это утверждение казалось вполне естественным.

Вообще вопрос об эволюции коммунистической идеологии в советское время и ее реальной роли в общественных отношениях этого периода — большой теоретический вопрос, связанный с проблемой народных религий в крестьянских обществах и, в частности, в России первых десятилетий XX века. Общим здесь является то, что народ всегда располагает своей собственной системой верований, поверий, обычаев и обрядов, которая составляет важный регулятор социальной жизни людей, вносит какую-то регламентацию в его трудную жизнь, а с ней и основу для уверенности в будущем. В народной религии обычно находится место и для официально насаждаемой в обществе веры, которую политическая элита навязывает из города. Но элементы этой веры, будучи приняты в народно-религиозную систему, настолько трансформируются, что нередко сходство с официальной догмой остается лишь в словах, терминах, символике. Люди чаще всего не знают принятой догмы и не испытывают потребности в таком знании, охотно приспособлявая ее термины и символы к своим духовным нуждам и повседневным заботам.

Такова вкратце теория. Практически же в верованиях советской деревни в 30-е годы присутствуют и языческие образы, вполне реально помогавшие в прежнем крестьянском труде (взять хотя бы привязку к ним календаря сельскохозяйственных работ), и Бог-Христос, и Маркс-Ленин-Сталин. В городах жизнь иная. Здесь нет большой практической потребности в языческом элементе народной религии (хотя некоторые остатки обрядов благополучно существуют в российских городах и до сих пор); с верой во Христа — трудности. Зато в марксизме-ленинизме есть много привычного, понятного и духовно потребного. Это и осознание своего социального единства, своего «мы», причем даже подкрепленное коммунистической обрядностью (новые коммунистические праздники, демонстрации, манифестации, субботники и т. п.); это и простое, ясное объяснение, почему «наш» общественный уклад лучше и разумнее, чем «их»; это, наконец, и представление о рае, о лучшей жизни, которая к тому же не где-то в лучшем мире, а вот-вот наступит именно здесь, именно «у нас». (В перспективе в специальных исследованиях необходимо внимательно рассмотреть, какие слои советских граждан, в какой мере и для каких практических целей воспринимали новую официальную догму, называемую «научным коммунизмом». А от суетных сегодняшних представлений, что коммунистическая идеология была навязана партией народу, пора уходить. Такое навязать невозможно.)

Не менее интересным представляется вопрос о влиянии крестьянского образа жизни на экономический и социальный уклад советского общества. Крайне незначительная роль товарно-денежных отношений в советской экономике по сравнению с такими регуляторами, как план, госзаказ, централизованное распределение и др., настолько существенно отличали народное хозяйство СССР от экономики рыночного типа, что советские учебники политэкономии с полным основанием оперировали понятием «политэкономия социализма». Другое дело, что при этом много говорилось о преимуществах данного типа экономической организации (главным из которых был все тот же фактор уверенности в завтраш-

нем дне и в социальных гарантиях³⁵) и замалчивались недостатки. Эта крайность породила другую крайность — представление, что экономика может быть только рыночной, и все недостатки советской системы хозяйства преодолимы путем решительного перехода к рынку. Лучшим отрезвляющим душем, избавляющим от этой иллюзии, стала сегодня общественно-экономическая реальность. Но чтобы прекратить метания из крайности в крайность, пора, наконец, понять одну простую вещь: экономика советского общества была *исторической нормой*, и ее специфику надо не порицать, а *уразуметь*.

Слабые материальные стимулы к труду в этой экономике — характерная и в общем объяснимая черта. Это связано с чисто крестьянскими особенностями мотивации трудовой деятельности, объективно присутствующими на социально-психологическом уровне. Совершенно неправомерно усматривать причину низкой производительности и невысокого качества труда в общественном секторе советской экономики только в слабом материальном стимулировании. Ненацеленность крестьянского труда на получение прибыли в сочетании с такими социально-психологическими характеристиками, как стремление к минимизации трудовых затрат и к *праздности* как одной из высших социальных ценностей³⁶, позволяет лучше понять, почему в общественном секторе советской экономики нередко отсутствовала забота об уборке и сохранении урожая, дорогая импортная техника «доводилась до ума» кувалдой, а отделочные работы в домах-новостройках производились «тяп-ляп».

Параллельно должна была существовать какая-то *другая* экономика, в которой бы устранялись все эти изъяны. Ее не фиксировали и не описывали ни коммунистические, ни западные экономические теории. Наверное, поэтому Т. Шанин вводит для нее особый термин «*эксполлярная экономика*», т. е. не принадлежащая ни к одному из полюсов — ни к частнокапиталистической, ни к государственно-коммунистической экономике³⁷. Он полагает, что в определенной мере это явление составляет общую черту всех посткрестьянских обществ. Большое число важных социально-экономических проблем по инерции решается в них силами членов семьи почти независимо от общественной экономики. Слабая социальная инфраструктура всегда была характерной чертой советского общества, но незначительна была и общественная потребность в ее развитии.

Не принимая в расчет данной особенности экономического уклада страны, трудно анализировать развитие ее экономической системы. Так, вопреки прогнозам экономистов либерального толка советские колхозники и работники совхозов во времена перестройки не бросились с охотой в пучину частной собственности на землю и фермерского предпринимательства, но предпочли как-то иначе приспособиться к изменившимся условиям. По-видимому, многие из них рассматривали колхозы как некие придатки к своему личному хозяйству и не видели необходимости в отказе от столь важного страхующего фактора. Нечто подобное происходило и происходит в городах, где вопреки предсказаниям тех же экономистов о массовой безработице проблема решается каким-то компромиссным способом.

Наконец, чисто по-крестьянски выглядит реакция советских горожан (не говоря уже о селянах) на действия властей на разных этапах советского периода. Тихое, пассивное сопротивление в пределах возможного, позволяющее как-то нейтрализовать, а порой и сводить на нет наиболее одиозные действия партийно-политического руководства, — «оружие слабых», по терминологии Д. Скотта.

³⁵Многое в советской экономической политике было направлено на реализацию этого фактора. К примеру, совсем по-общинному, по-коммунистически выглядит практика централизованного перераспределения через партийно-хозяйственные структуры продукции сельского хозяйства с целью не дать так называемым «лежачим» колхозам развалиться окончательно (разумеется, в ущерб благополучным хозяйствам).

³⁶Об этом довольно убедительно пишет Р. Сивой (см. Seavoy R. E. Famine in Peasant Societies).

³⁷См. Shanin T. Expolary Economies: A Political Economy of Margins. «Defining Peasants».

Скотт писал и о том, что реальное народное отношение к политическому режиму можно и должно отслеживать на уровне фольклора³⁸. Советский политический анекдот и городская политическая частушка представляют собой в этом плане не только прекрасный источник для историка, но и свидетельство верности традициям аграрного общества.

* * *

Итак, Маркс был прав: судьба российского общества в XX веке, действительно, оказалась очень тесно связана с крестьянской общиной-коммуной. Возьмемся даже утверждать, что практически половину этого века мы существовали в обществе, которое есть много резонов называть «коммунистическим». Опять парадокс: строили-строили его и не замечали, что в нем и живем. Политические анекдоты в посткоммунистическую пору стали редки — митинги пошли. Но все же один приведу.

«Двое больших приверженцев спиртного стоят в магазине и растерянно крутят в руках только что купленную бутылку водки, не имея ни рубля на приобретение хоть какой-нибудь закуски.

— Слушай, ведь 14 копеек плавленый сырок-то стоил.

— Да-а, прохлопали коммунизм».

Возможно, какие-то вопросы в этой статье поставлены слишком прямолинейно и весьма уязвимы для критики. Но это сделано намеренно, чтобы привлечь внимание специалистов к данной точке зрения на советский период нашей истории. Я убежден, что это будет способствовать действительно реалистическому анализу теперешнего состояния российского общества, который необходим для обоснования более пригодных для него реформаторских решений³⁹.

³⁸ См. Scott J. C. *Moral Economy of the Peasant*. London, 1976, p. 233—239.

³⁹ Нежелание и неготовность современных реформаторов считаться с реальностями деревни и «рыночная конъюнктура» идеологов реформ убедительно показаны С. Никольским в статье «Аграрные реформы и крестьянство. Радикал-интеллигентские мечтания и действительность» («Октябрь», 1993, № 8).